

Пролог

...И опустошители твои будут опустошены...

КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ, 30:16

Апрель, 1943

Из запроса компании «Байер» в административное управление Аушвица: «...Стоит отметить, что партия из 150 женщин прибыла в хорошем состоянии. Однако нам не удалось получить заключительные результаты, потому что все они скончались во время испытаний. Любезно просим вас прислать еще одну группу женщин, в таком же количестве и по такой же цене (то есть 170 рейхсмарок за каждую). С уважением...»

Из телеграммы в Главное управление имперской безопасности, отдел IV В-4, Берлин, от 10.07.1942: «...Аресты евреев без гражданства в Париже будут проведены французской полицией с 10.7 по 18.7.42. Можно ожидать, что после этих арестов останется около 42 000 еврейских детей. Для этих детей изначально предусмотрена общественная помощь во Франции. Однако поскольку длительное совместное пребывание этих еврейских детей с нееврейскими нежелательно, а Союз французских евреев может разместить в своих приютах не более 400 детей, прошу срочно сообщить по телеграфу ваше решение: можно ли, начиная примерно с 10-го эшелона, отправлять вместе с подлежащими выдворению евреями без гражданства и их детей. Отмечу, что премьер-министр Пьер Лаваль лично выступил с предложением депортации детей, не достигших шестнадцати лет.

Гауптштурмфюрер СС Даннекер. Париж».

Хайфа, август, 1960. Допрос

Капитан полиции Авнер Лесс. Когда концентрационные лагеря отправляли в Главное управление имперской безопасности отчеты об умерших, разве они не должны были попадать и к вам, если там были евреи?

Подсудимый Э. По евреям этого не делали. Когда вначале были приказы об отдельных экзекуциях, тогда, конечно, были личные дела, а когда пошли уже списки, это стало уже... массовое дело. У нас списков не было. Я думаю, что такой... поименный список вряд ли... Зачем центральной инстанции отдельные имена? Нам бы понадобились для этого отдельные папки, целые шкафы, чтобы вместить поименные списки... Понимаете?

Октябрь, 1962

Из частной переписки: «...бывшая узница Езерская. Она уже помогала комиссии, если ты помнишь. Неизвестно, она знала или указала наобум, но на территории третьего крематория по ее наводке была обнаружена очередная уникальная находка. Банка была прикопана всего-то сантиметров на двадцать. Удивительно, как ее не нашли местные, когда перерывали тут все в поисках мифического еврейского золота. Не знаю, в курсе ли ты, но после официального закрытия лагеря поляки из окрестных деревень устроили здесь настоящий золотой прииск со всеми вытекающими. Они копали землю рядом с крематориями Биркенау и промывали ее в огромных мисках, говорят, кто-то даже нашел золотой зуб да пару монет, но по большей части намывали только человеческие кости. Ума не приложу, что чувствовали эти кладбищенские гиены, копаясь в могиле, в которой упокоились миллионы. Возвращаясь к нашей находке — вот что действительно на вес золота! Хорошо, что ее догадались обернуть в листовое железо, иначе треснула бы. Внутри, дружок мой, были листы — небольшие, сантиметров десять на пятнадцать, очевидно, блокнот

для записей, — соединены скрепкой, которая от времени прожавела настолько, что нам стоило большого труда отделить ее от бумаги, не повредив сами листы. Они плотно исписаны с двух сторон, и каждое слово для нас имеет невероятную ценность, сам понимаешь. По моим прогнозам, расшифровать удастся меньше половины, бумага сохранилась не лучшим образом. Но самое ужасное (о чем, кстати, предупреждал Томаш, когда мы удаляли скрепку), мы умудрились перепутать все листы, а они без нумерации. Теперь предстоит долгая и кропотливая реконструкция. У меня было не так много времени для изучения, только беглый осмотр, пока лишь могу сказать, что все на идиш, за исключением одной страницы, она на польском, но именно она содержит важные данные касательно евреев, отправленных в газ в октябре сорок четвертого...»

Ноябрь, 1980

Из стенгазеты Лесного техникума города Бринке: «...наш ученик Леслав Дурщ. Эту уникальную находку он обнаружил во время раскорчевки местности недалеко от руин третьего крематория. Рукопись находилась в стеклянной колбе от термоса, закупоренной пластмассовой пробкой. По сравнению с предыдущими находками эта скромнее — всего тринадцать страниц, но ее нужно выделить особо, она написана не на польском или идиш, а на греческом языке! Несмотря на пробку, грунтовые воды все же сумели просочиться внутрь колбы, повредив листы, однако отдельные фразы поддаются расшифровке, и они поражают своим оптимизмом, силой веры и мужества этого греческого узника: “Каждый день задумываемся над тем, есть ли еще Бог, и, несмотря ни на что, я верю, что Он есть и что все, чего Он хочет, есть Его воля... Я не о том жалею, что умираю, а о том, что не смогу отомстить так, как я этого хочу и как могу”. Остается только догадываться...»

Август, 1961

Из газетной заметки: «...бывший электрик, обслуживавший крематории Биркенау (Аушвиц II). Он сумел указать точное место одного из так называемых схронов зондеркоманды. Бумага, исписанная на идиш, отсырела и потемнела от времени, но музейный реставратор заверил, что больше пятидесяти процентов текста возможно восстановить. Расшифровка найденных записок ведется, но уже сейчас можно сказать, что эти триста сорок восемь листов являются бесценной находкой для истории. По свидетельству Порембского, таких схронов на территории крематориев не меньше сорока. В этом же тайнике найдены остатки человеческого пепла и перемолотых костей...»

• • •

Сколько же они насовали в тот пепел? Как было уследить? Чего они хотели? Чтобы мир услышал, чтобы мир узнал? Утописты-трупоносы. Вы не нужны были миру тогда и утомили его своим плачем сегодня. А впрочем, копайте, копайте, ройтесь в пепле памяти, дышите им, не только мне задыхаться тем пеплом. Сомневаюсь, что вам нужна та правда, — половина ворошит эти останки, надеясь найти многострадальное еврейское золото. Ищите, ищите — не обряцете, все отдано за пайку. Нет там ничего, кроме их плача на бумаге. Да разве он вам нужен? Он мне больше нужен, мне, тому, кто убивал. Я с ними буду плакать.

Помню грека одного, сокрушался, что не может отомстить за себя и за весь народ свой. Жалел об этом. А я все думал после, когда и грека того уже не стало: а если невозможность совершить то мщение была благостным проявлением Божественного вмешательства? Меня Он лишил подобной благодати, не услышал, как я молил Его об этом: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных...» Он

услышал лишь ваши молитвы, грек: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных. Оставь это тем, кого Ты не возлюбил, Господи...»

Май, 1985

— Дора-Дора-помидора!

Звонкий детский голосок располосовал больничную тишину. Кажется, это была девочка. Хохотнув, она продолжила кого-то дразнить:

— Дора-Дора-помидора...

Кто-то шикнул на нее, и она резко замолчала. Послышались удаляющиеся шаги.

— Дора-Дора-помидора, — тихо повторил хриплый старческий голос, помолчал, затем еще тише, словно пытался распробовать слова на вкус: — Дора-Дора-Миттельбау... — Совершенно никаких эмоций, высохший, мертвый голос. Мой голос.

Я с трудом повернул голову и уперся взглядом в стену. На ней висела современная карта Европы. Кто додумался? Черточки, деления, штрихи, границы, мне непонятные и тяжелые. Вот здесь, в центре Германии, недалеко от Веймара, я вижу красную точку — это Бухенвальд. Точно такая же точка рядом с Мюнхеном — Дахау. Мой Дахау. Взгляд пополз выше — Флоссенбург, ад в аду Дора-Миттельбау, наш последний главный лагерь, там, где были похоронены глубоко под землей еще дышавшие и работавшие, затем еще выше к Гамбургу — Нойенгамме и Берген-Бельзен — лицемерная патология в концлагерной системе, там, где не уничтожали всех подряд, но хранили на продажу, на возможный обмен за наши никчемные жизни. Взгляд переместился в долину Рура — небольшой Нидерхаген, да, совсем небольшой, другое дело близ Берлина — Заксенхаузен, который я по привычке называю Ораниенбург. Тут же близко Равенсбрюк, приют слабых душ. Я перепрыгнул взглядом через нелепую границу в Австрию — и я уже в Маутхаузене с его филиалами, Гузенем и Эбензее. Теперь

я в Чехии на берегу реки Огрже — здесь Терезиенштадт. Еще один прыжок во Францию — Нацвайлер, в Голландию — Герцогенбуш, в Югославию — Лойбл-Пасс. Еще одна невидимая граница, и я в Прибалтике — Кайзервальд, шикарный курорт, ставший транзитным адом в сорок третьем. Оттуда я направился на северо-восток, в поселок Вайвара, где лагерь вырос за несколько недель. Окидываю взглядом его проклятый спутник Клоогу. Ими проклятый. Ими, погибавшими там в нечеловеческих условиях на добыче сланца и торфа. Сколько их там, похороненных заживо в болотах? Захлебнувшихся, упокоенных в так необходимом нам торфе. На карте нет цифр. Вайвара, Вайвара — как имя звонкой прыткой девушки с толстыми косами, налитой, полнотелой, мягонькой, кровь с молоком. Но таких там не было, были изможденные существа, не мужчины и не женщины, что-то страшное, затаившееся на пути от женского к мужскому. Ползу взглядом обратно, ниже, по невидимому рейхскомиссариату Остланд. Там, в Каунасе, — третий прибалтийский узел смерти, вылупившийся из местного гетто. Сланцевые рабы, болотные мученики. Я двигаюсь дальше, в Польшу, — Майданек на окраине Люблина, пропитавшийся кровью восемнадцати тысяч человек за один день. Восемнадцать тысяч за один день — кровавыми парами был напоен воздух всего Генерал-губернаторства*. И раненые рыдали и выли под телами мертвых, и венский вальс разносился из громкоговорителя с ними в унисон. И стих последний аккорд с последним выстрелом, и уснул последний узник, и полился шнапс рекой. Одни спали вечным сном, а другие упивались, будучи давно пьяными от кровавых испарений, мутивших большой разум. В бреду я бреду дальше, в Штуттгоф под Данцигом — поставщик рабских рук для немецких поселений

* 3 ноября 1943 года в концлагере Майданек прошла операция под кодовым названием «Праздник урожая» («Эрнтефест»). За один день было расстреляно 18000 узников. Это была крупнейшая бойня за всю историю существования концентрационных лагерей. — *Здесь и далее прим. автора.*

в Западной Пруссии. Далее Гросс-Розен, Плашов, трудовой поначалу, но также не избежавший всеобщей участи. Весной сорок четвертого и его обитатели переделались в концентрационные полосатые робы и провалились в пучину террора. Мы успели. Успели и здесь устроить ад. Я двигаюсь в следующие его круги — лагеря Глобочника: Собибор, Трешлинка, Бельзен и, наконец, он... Аушвиц, моя боль, мое проклятие... Я вижу не только главные лагеря, я вижу десятки их спутников. «Моя» карта испещрена точками, нет живого места на теле Европы. Ничего живого не осталось. Господи, почему никто из них не видит этих кровавых точек? Снимите ее, проклятую...

Я медленно закрыл глаза.

Когда я открыл их снова, точек на карте не было. Они были у меня в голове. В моей памяти, которая никак не желала прогнуться под натиском старческого маразма. Как же я завидую старикам, жалующимся, что «память уже не та». Я помню. Я все помню. Память — самое тяжелое наказание, на какое можно обречь человека. И, вопреки всеобщему заблуждению, забыть, увы, гораздо сложнее, чем хранить в голове ясно и отчетливо. Кому-то страшно жить воспоминаниями, потому как это значит, что ты уже одной ногой в могиле, но много страшнее, когда твои воспоминания такие... Лай сторожевых собак и крики заключенных не дают мне спать. Я хочу спать. Господи, как же я хочу спать. Без снов.

Я повернул голову, на тумбочке лежала газета. На первой странице была статья, посвященная двадцатилетней годовщине окончания репарационных выплат Израилю. Покаянная, как и следовало ожидать.

Мне вдруг стало тяжело дышать. Воздух проходил в легкие мелкими порциями и не насыщал. Кажется, я захрипел. Нащупав на столике колокольчик, я попытался позвонить, но руки не слушались. Колокольчик выпал и укатился под кровать. В ту же минуту в палату вошла дежурная медсестра. Я посмотрел на нее долгим вымученным взглядом. Кажется, из новеньких. Раньше я ее не видел.

Очевидно, выглядел я отвратительно — она испуганно кинулась ко мне и начала щупать пульс. Я с трудом вырвал руку и положил ее на тяжело вздымающуюся грудь. Она тут же приложила к моему лицу маску. Дыхание восстановилось, и я уже сам отнял маску.

— Новенькая?

Она кивнула, поправляя на мне одеяло.

— Как зовут?

— Ривка, — коротко ответила она.

Губы мои сами собой разъехались в улыбке.

— А что, Ривка, мы с вами окончательно расплатились? Читала, во сколько сребреников вы оценили шесть миллионов своих?

На кой черт я назвал эту цифру, когда до сих пор не знаю, к какому количеству причастны мои руки? Да и как можно посчитать? Пытались, конечно. От Хёсса я слышал, помнится, предположение в три миллиона, но это до суда, а на суде в Варшаве он, конечно, был скромнее — миллион, хотя и деление на три его не спасло. Повесили. Русские утверждали, что четыре миллиона, в Нюрнберге — пять миллионов семьсот тысяч, евреи кричали о шести. Выходит, повторяю за евреями. Не впервой, с избранностью тоже плагиат вышел. Точно я знаю лишь одно число — выбитое на руке. С ним и буду умирать.

Ривка проигнорировала мой вопрос. Я продолжил:

— Ривка-еврейка, тебе в самом деле нравится ухаживать за стариком и подтирать за ним говно?

Мне до осточертения надоела эта палата. Я подозревал, что скорее сдохну здесь от скуки, нежели от язвы, никак не желавшей меня кончать, и я хватался за любую возможность развлечься, пусть даже таким низким способом.

— Ривка-еврейка, — повторил я, наслаждаясь едва сдерживаемым гневом девушки.

— Слушайте, — наконец не выдержала она, — я знаю, кто вы, меня предупреждали. Но вы, похоже, забылись.

Внутри у меня все заклокотало от глухого хохота, но наружу не пробился ни единый смешок, на что нужны были силы. Они знают, кто я! Да они и близко не подозревают, чем я занимался, иначе не лежал бы сейчас на попечении государства в замечательной, чистой больнице на западе Кёльна, а гнил бы в могиле, как остальные. А может, и могилы бы не удостоился, развеяли б прах по ветру.

— Ты говоришь, что знаешь, кто я, Ривка?

— Да, знаю, — кивнула девушка, — вы стоите на учете как бывший член СС. Вы все на виду, так что ведите себя прилично.

Если бы у меня достало сил, я бы все-таки расхохотался ей в лицо. Буквально пару лет назад я столкнулся с бывшим командиром подразделения СС, действовавшего на Восточном фронте. Он занимался карательными операциями. Иногда вместо расстрелов его подразделение заживо сжигало людей. И он приказывал делать это под музыку. Горит намертво заколоченный сарай, трещат старые, разошедшиеся доски, нервно пляшет грязное, чадающее пламя, и изнутри этого пекла раздаются вопли, полные муки, ужаса и нечеловеческой боли. И все это под звуки вальса из старого граммофона. Иногда командир смеялся в ответ на чью-то шутку, рассказанную тут же. Вот здесь впору добавить: нечеловеческий, мефистофельский смех, от которого кровь стыла в жилах. Но нет, смех был вполне себе человеческий, иногда прерываемый кашлем, вызванным едким дымом. Дело ведь в чем — то была не сцена из литературного произведения, то была реальность. Он действительно любил музыку, и она отвлекала его от происходящего, а сжигание экономило время — можно было оформить сразу большую партию, а заодно решался и вопрос последующей утилизации трупов. Потом, если мне не изменяет память, он проявил себя в подавлении Варшавского восстания, даже был награжден. Из заварухи выбрался легко — сумел скрыть свою принадлежность к СС благодаря поддельным документам, которые благоразумно подготовил заранее. После войны его страсть

к музыке вновь проявилась, и он устроился в хор Ассоциации молодых христиан, с которым гастролировал по всей Европе. В старинных соборах они распевали религиозные гимны и немецкие народные песни, наслаждаясь рукоплесканием благодарных слушателей. Потом женился, а когда молодая жена забеременела, он, как ответственный глава семьи, задумался о более серьезной работе, которая должна была позволить ему достойно обеспечивать семью. К моменту нашей встречи он возглавлял отдел кадров в солидной фармацевтической компании. За рюмкой коньяка признался, что ему нравится работать с людьми, он легко находит с ними общий язык и быстро понимает, кто для какой работы годится. За свой карьерный взлет он благодарил... свой прошлый опыт службы. Что ж, принципы, заложенные СС, оказались не так уж и плохи в обыденной жизни. Строгая дисциплина, четкая исполнительность, тяга к порядку — все это помогло ему выделиться среди коллег. И сколько еще таких? Сегодня, наверное, исчисление идет на сотни, но в первые месяцы только в Южной Америке затаились тысячи, сумевшие бежать крысиными тропами. Один я знал местонахождение как минимум пяти десятков, а дюжину из них сумел бы даже перечислить по именам и званиям. И она говорит, что все мы на виду. Да она даже не представляет, сколько нас сейчас раскидано по миру, неприкаянных, живущих воспоминаниями и не имеющих возможности вскинуть голову и осмотреться вокруг из страха встретиться глазами либо с преследователями, либо с выжившими. И то и другое — одинаково страшно. Господи, нас даже слепые узнают: я поверить не мог, когда услышал об Эйхмане*. Говорят, его сдал незрячий еврей, пропущенный

* Адольф Эйхман (1906–1962) — оберштурмбаннфюрер СС, глава отдела гестапо IV В-4, отвечавшего за «окончательное решение еврейского вопроса». После войны сумел бежать в Южную Америку, где агенты израильской разведки «Моссад» выследили его, похитили и вывезли в Израиль. На суде в Иерусалиме приговорен к высшей мере наказания, казнен через повешение.

сквозь сито нацистских репрессий. Удивительно, даже слепое око начинает видеть, когда на кону отмщение и, кажется, еще десять тысяч американских долларов, обещанных в качестве награды. Кстати, странно, что разведка Израиля не сделала этого раньше, ведь Эйхман так «наследил», что — вот ирония — и слепой нашел бы. Его супруга даже не удосужилась поменять свое удостоверение личности в Буэнос-Айресе и продолжала щеголять фамилией мужа. Такую же фамилию они дали и своему четвертому сыну, родившемуся уже там. А вишенкой на торте стало интервью какому-то голландскому охотнику до сенсаций, которое в разное время выходило и в американской печати, и в аргентинской. Только совсем далекие люди не сумели бы углядеть личность анонимного рассказчика в этих статьях, а такого никак нельзя было сказать о тех, кто работал в израильской разведке. Правда в том, что Эйхман уже не скрывался. Он устал от этого. Как и все мы.

Я хорошо помнил нашу последнюю встречу, его потерянное лицо: «Я ведь пытался. И в Палестину их отправить пытался, и в Польше строил для них целый мир, чем не компромисс? Но нет, им нужно было подтолкнуть нас к... к этому!»

По Эйхману выходило, что во всем были виноваты... они. Впрочем, ничего нового в человеческом сознании. Бюрократ до мозга костей, он сохранял каждую бумажку, имевшую какое-либо отношение к особым акциям, каждый приказ сверху он тщательно визировал и копировал. Поначалу я думал, что это предусмотрительность, но потом я понял: объясняя очередной телеграммой от Мюллера* или Кальтенбруннера** всякое действие, он являл свое нутро почтальона. Вот кем были мы все. В этом даже было свое извращенное благо — иногда это дарило несколько дней жизни обреченным. Так, в июле сорок второго в пересыльном лагере в Дранси застряли

* Генрих Мюллер (1900–1945) — группенфюрер СС, начальник гестапо.

** Эрнст Кальтенбруннер (1903–1946) — обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления имперской безопасности СС.

четыре тысячи еврейских детей, которых отделили от родителей. Вряд ли Эйхман хотел подарить им дополнительные десять дней жизни, но именно столько заняло ожидание ответа из Берлина на запрос об этих детях. Он знал наверняка, каков будет ответ, но без бумажки не пошевелил и пальцем. Получив ее, он дал отмашку Даннекеру* отправить детский транспорт в Аушвиц. А там... работники из голодных детей были, откровенно говоря, никакие...

Лишь в конце маниакальная тяга к порядку Эйхмана дрогнула и он позволил себе невероятное — проявить инициативу и отправить венгерских евреев пешим маршем в Австрию. Но тогда все мы уже были на взводе и совершали глупые поступки.

Но одно действие не было официально прописано на бумаге. Ни у Эйхмана, ни у кого бы то ни было еще. Массовое уничтожение евреев. Не существует ни одного документа, где это приказывалось бы прямо, без обиняков. Что касается остального, то можно было не сомневаться — на любое распоряжение Эйхмана в его личном архиве нашелся бы приказ за подписью его начальников, санкционирующий это распоряжение. Все мы тогда послушно следовали приказам, в том мы видели свое назначение, а позже и оправдание. Что бы нам ни приказали, толковать было запрещено, задумываться и переспрашивать — запрещено, обосновывать — запрещено, можно было лишь выполнять. Ослушание приказа во время войны — трибунал. «Солдаты во все времена закованы в броню присяги. Так было всегда. Тут ничего не попишешь». Так мы все повторяли словно заведенные. Такую же линию гнул на суде и Эйхман. «Разумеется, повиновался. Я повиновался приказам, которые я получал, я повиновался, да. Присяга есть присяга. Я ей слепо следовал. Я бездумно следовал присяге», — раз

* Теодор Даннекер (1913–1945) — гауптштурмфюрер СС, сотрудник отдела Адольфа Эйхмана, специалист по осуществлению нацистской антиеврейской политики.

за разом повторял Эйхман, будто перед ним сидел человек, слабый умом, которому нужно растолковывать все простейшими предложениями по нескольку раз. «Я не подлежу никакой ответственности, потому что присяга, которую я принял, обязывала меня к верности и послушанию. Мне приказал высший руководитель! Я находился в положении подчиненного и был обязан исполнять приказ. Это же ясно». Но в том зале суда это было ясно только ему одному.

Конечно, попытка прикрыться приказом у Эйхмана с треском провалилась. А впрочем, попытка не пытка, как говорится. Пытка была у других.

Но с другой стороны, я вспоминаю потуги Эйхмана еще в самом начале реализовать безумные проекты по переселению евреев в Палестину, на Мадагаскар, в район реки Сан в Польше, вспоминаю его отчаяние, когда одна за другой эти попытки терпели крах, и начинаю думать: может, действительно все так — по сути своей никто из нас не был юдофобом, лишь чертов приказ... Но эту мысль опасно завершать. Так, чего доброго, можно дойти и до самооправдания. Надо заставлять себя помнить: Эйхман уверовал в то, что эти акции истребления действительно необходимы, что они — залог безопасности немецкого народа в будущем. Истинно уверовал в то, что поступает единственно верно. Уверовал... по приказу. Именно так, он был одержим своей миссией по приказу, как бы нелепо это ни звучало. Равно как и все мы.

Интересно, видел ли я когда-нибудь того слепыша, сдавшего Эйхмана? Вполне возможно. Сколько их было, разве упомнишь. Бесчисленное множество обреченных и будущих калек просочились сквозь мою жизнь, как бесплотные тени. Или это я бесплотной тенью мелькнул в их жизнях? Помнят ли меня выжившие? Не просто собирательно, как некоего злого нациста, поступавшего в их понимании плохо, но меня как личность? Впрочем, с памятью у них все хорошо. И они отчаянно хотят, чтобы и весь остальной мир помнил. А если забыл, то вспомнил и еще раз устыдился того, что попустил. Такова

была цель той показательной судебной постановки с Эйхманом в Израиле, собравшей аншлаг. Претензии понятны — мир, который кричал в первые годы, что «никогда не забудет», забыл очень быстро. Он просто хотел двигаться дальше, не испытывая ни малейшего желания продолжать копаться во всем этом в поисках уже никому не нужной истины. Первыми это прочувствовали книгоиздатели, сделавшие в свое время хорошую выручку на публикациях пронзительных мемуаров «выживших» и «прошедших сквозь горнило ада». Они громко жаловались на падение тиражей, на растущее безразличие и отсутствие всякого читательского интереса ныне, и то была правда, потому как тема перестала вызывать хоть какие-то эмоции. Сострадание стало дежурным, ибо наелись, пресытились и для умов сам факт произошедшего стал обыденностью. Хотя что говорить о мире, когда даже те, кто победно вошел в Германию и лично столкнулся с прозрачными существами без пола и без имени, вышедшими им навстречу из лагерей, быстро позабыли. Поначалу с их стороны не было никакого сочувствия ни к маленьким голодным оборванным Гансам, попрошайничавшим на улицах, ни к замерзавшим исхудавшим Лизхен и Гретхен, которых испуганные матери подталкивали в сторону солдат-победителей, ни к побивавшимся старикам, потерявшим в той страшной войне детей-кормильцев, — они охотно соглашались с коллективной ответственностью всего немецкого народа за эти ужасы. И долго так было: аж целых сколько-то дней. А потом оккупационные штабы завалили заявления от английских и американских солдат с просьбами разрешить вступить в брак с немками. Только в английской зоне их было без малого четыре тысячи. Помнить стало неудобно обеим сторонам.

Жаль, что мне не забыть об этом, в отличие от них, кричавших «никогда не забудем». Хотел бы, отчаянно жаждал, но не способен. Я, как евреи, не забываю. А евреям нужно отдать должное. Виртуозы. Все свели исключительно к себе. В лагерях сгнули коммунисты, социалисты, гомосексуалисты,

политически неблагонадежные, цыгане, поляки, русские, черт, да кто там только не сгинул, долгое время евреи даже не составляли большинства среди заключенных. Но останови сейчас любого на улице и скажи ему «концлагерь», он в ответ бросит «евреи». Эта короткая ассоциативная цепочка прочно обвила людское сознание. В массовом восприятии общий геноцид, о котором говорилось в Нюрнберге, постепенно истаял до одного лишь холокоста. В Нюрнберге они были *одними из*, но позже затмили собой других напрочь, всё замкнули на себе и прочно заняли нишу мученичества, не позволяя кому-либо еще претендовать на нее. Сцена страданий стала принадлежать лишь им.

И вся суть того периода свелась лишь к одному горькому пониманию — мы верили, трудились и закладывали свои души лишь для того, чтобы впоследствии отчаянно разочароваться. Сейчас любое воспоминание тех вымороченных, безнадежных лет вызывает во мне не гордость, в которой я тогда пребывал, но болезненные ощущения. «Вымороченные, безнадежные годы» — как страшно говорить так о своей молодости, надеждах и истовой вере, о том, что тогда казалось поворотным моментом истории, пиком всего человеческого существования и свершением чего-то грандиозного. Еще страшнее... не признать этого. Есть и такие, кто не способен сделать этого до сих пор, как и тогда находились такие, кто еще на заре происходившего осознал, что нация не воспарит, но летит в пропасть. Да, были примерившие на себя роль непрошеной совести, насмехавшиеся над триумфом, который все мы интуитивно предчувствовали. Я ненавидел их тогда. Я ненавидел собственного отца. Я был прилежным, педантичным и верным исполнителем, что вызывало у него лишь насмешку. «Покорность, возведенная в ранг добродетели, — суть и основа диктаторского государства, которое всех нас погубит» — кажется, так он тогда сказал мне. Но по сути своей я не был убийцей, я не был жестоким чудовищем, и, что самое главное, я не был глупым человеком. Каждое мое действие

было осознанно и определялось исключительно верой в его необходимость, оно определялось истинной любовью к своей стране. Я верил в нужность этой тотальной войны на всех фронтах, и на нашем внутреннем лагерном в том числе, со всей искренностью, на которую только был способен, а потому все, что я делал, я делал с чистой совестью. За идеи, которым был предан, я готов был работать без устали, не жалея себя, потому что у меня были идеалы, видит бог! Ради них я готов был пожертвовать собственной жизнью без раздумий. А вместо этого жертвовал чужими жизнями. Также, впрочем, без раздумий. Но это не шло вразрез с законом, ибо закон сказал вначале: «Можно». А затем: «Нужно!» Тем самым превратив нынешних патриотов и законопослушных граждан в будущих преступников. Необходимо понимать, что новое клеймо прилепили новые обстоятельства, понимаете? То, что считалось законом, потом стало злодеянием. Так сложилось. Вот и все. Мне просто чертовски не повезло — я родился не в том месте не в то время. Кстати, я не один в своем убеждении касательно невезения. «Гражданину, у которого хорошее правительство, повезло, гражданину, у которого правительство плохое, не повезло. Мне удача не сопутствовала» — так говорил на суде и Эйхман. Что ж, не раскаялся, но хотя бы пожалел.

Черт бы побрал эту немощь, даже усмехнуться больно. Без ложной скромности скажу, я был талантлив, да, определенно талантлив, сообразителен, исполнительен, энергичен, я обладал всеми качествами, чтобы сделать блестящую карьеру. И что же? Все это было бездарно сожрано реалиями времени и места и похоронено под толстым слоем мирового осуждения и презрения. Да, не повезло. Говорил уже? Возраст, ничего не попишешь. Я думал, что рожден для того, чтобы построить мир, в котором хочется жить и любить, заложить фундамент безбрежного счастья для своих детей, а вместо этого стал архитектором могильника, с которого кровь стекала потоками. Разрушенные и горящие дома, невспаханные поля, разлагающиеся трупы, люди, потерявшие веру во все, живущие ожиданием

скорой и неизбежной смерти, — вот мои достижения. Если уж на то пошло — будь моя воля, я бы никогда не родился. Но нет на такое воли нашей, без спросу выплевывают в эту жизнь. Нашей воли ни на что, собственно, не было, ни на жизнь, ни тем более на смерть. И я говорю не только о выборе, умирать ли, но и о выборе, убивать или нет. Это много страшнее собственной смерти. Когда ты не убийца по сути своей, но руки твои по локоть в крови. Ведь с этим надо жить. Хоть бы и по приказу. Только оглянувшись назад, можно увидеть, где свернул не туда. Ведь дело в том, что тогда история еще не рассудила, а творилась. Момент тонкий. Это для вас Гитлер теперь как некая историческая абстракция, сгусток абсолютного зла, понятного лишь по прошествии десятилетий. Для нас он был реальным человеком, нашим избранным правителем, способным одним лишь словом вознести или уничтожить — действительным образом влиять на наши жизни здесь и сейчас, понимаете? Сложно все проанализировать и понять «во время», а не «спустя». Такой пронизательностью немногие могут похвастаться, а ведь к этой пронизательности необходима еще и какая-никакая смелость. Впрочем, это проблема всех времен, даже тех, когда существует видимость выбора.

Но снова подчеркиваю, что это не попытка оправдаться, я не на суде, и надо мной не завис карательный меч, от которого надо увертываться. Напротив, я в теплой и чистой койке, и за мной заботливо ухаживают, так что есть время поразмыслить: действительно, какого черта я исполнял те приказы, преступные по своей сути? Почему только теперь понял, что они нарушали все законы человеческого бытия? Ломали всякую нормальность того, что мы называем цивилизацией? Почему только время и итоги способны развеять наши заблуждения, что то был триумф, а не время попустительства и слепоты? Но я продолжаю рассуждать дальше: да, на своем уровне я подчинялся приказу, уровнем выше тоже были приказы, но если дойти до вершины этой страшной пирамиды, то там будет лишь... пустота. Теперь уже нам известно, что *он* сознательно

никогда не давал четких приказов уничтожать *столько и так*. Он лишь рисовал картину идеального в *его* понимании мира, а свита кидалась претворять ту картину в жизнь способами... разными способами, сообразными их возможностям и фантазии. И поскольку та картина идеального мира отменяла существование миллионов людей, то эти способы были страшными. Он обсуждал цели, но от их реализации абстрагировался, заставив свою свиту осознать, что залог успеха не только в выполнении приказов, но и в их предвосхищении. А потому это зло растекалось от всех них... нас, с самого верха до самого низа, оно было общим, от каждого по вкладу согласно должности и чину, что вместе явило миру нечто невероятное в своей ужасности и огромности. Оно не могло быть плодом мысли и действий лишь одного человека. Либо не человека вовсе, а истинного дьявола во плоти. Но, узрев, весь мир вздрогнул, ошибочно судив, что все это идет от него и только от него, и наделил его поистине дьявольской личиной и мифологизировал, табуируя даже имя его. Но он был настолько обычен, мелок, малодушен и труслив, что боялся даже произнести вслух то, что претворилось в жизнь от его имени, но нашими силами — силами обыкновенных людей, которые не были ни злыми по своей сущности, ни тем более убийцами. Не погрешу, если скажу, что он и не знал тонкостей, что да как там происходило в тех душевых. Понимаете? Не он сыпал гранулы в трубу, не он закрывал заслонку, его там никогда и не было. Это делали те, кто уверовал в то, что правда за ним. Человек убивал человека по слову другого человека — вот что в сухом схематичном остатке. Как и всегда, на протяжении истории всего того человека. И оттого тошно, что схема-то немудреная, а видишь, попался на нее, как болван необразованный. А ведь был неглуп, да, совсем неглуп. Но попался, черт бы побрал, попался! Как и тысячу лет до того человек попадался.

Как же горько осознавать, что моя жизнь пошла под откос, потому что я уверовал в обычного провокатора, сумевшего прорваться наверх. В этом суть зла — оно до тошноты

обыденное, трусливое, сонное и ленивое. Нужно признать, что в Нюрнберге на скамье подсудимых мир ожидал увидеть высокорослых светловолосых монстров, с кровью в глазах, в которых навсегда застыло надменное господское выражение, со сжатыми кулаками, с набухшими жилами, возможно, даже с пеной у рта, страшных, психически больных людей, извращенцев с явной садистской патологией. Вместо этого мир увидел самых обыкновенных людей, со своими проблемами, страхами и недомоганиями, с расстроенным стулом, неприятным запахом изо рта, плохим зрением и выпадающими от нервов волосами, стареющих, с незаладившейся карьерой, не представляющих, что их ждет, и от этого еще активнее портящих воздух. И у половины из них были степени докторов, полученные в лучших и старейших университетах Европы. В конечном итоге люди увидели таких же, как они сами. И вот эти-то обыкновенность и посредственность делали ситуацию еще страшнее. Ведь если они такие же, как и все, то не способны ли и все на то, что делали они, в соответствующих обстоятельствах? Задавайте себе этот вопрос почаще. Ведь беда в том, что ни одна кара, ни одно решение какого-то суда никогда не обретут абсолютную сдерживающую силу, необходимую для предотвращения злодеяния, уже когда-либо случившегося на этой земле. Все, что разум человеческий уже претворял в жизнь, может повториться, каким бы ужасным это ни было и сколько бы от того ни зарекались. Такова натура человека. И, несмотря на все нелепые потуги Гимmlера, страдавшего тягой к мистицизму и недугом «великой избранности», в СС не было ничего inferнального. Вопреки общему восприятию, массовое уничтожение не было каким-то страшным судом над неугодными. Все было до тошнотворности буднично и регулировалось исключительно с практической точки зрения. Мы пришли к тому, что всего лишь решали вопросы экономического и социального характера, возможно, еще земельного, что, правда, можно отнести к экономическому

сектору. Не более. Закупки сотен килограммов «Циклона Б»* шли в накладных рядом с канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. Истребление целого народа стало делом рутинным и, пожалуй, само собой разумеющимся. Никто не осознавал, что поступает неправильно, потому что все происходящее стало новой обыденностью. Нормой, если угодно. И неудобный факт таков: самые ужасные преступления в истории человечества на счету не кровавых маньяков и умалишенных убийц, а простых интеллигентных людей, получивших достойные по меркам своего времени воспитание и образование. Не демоны, не вампиры, не людоеды, не ведьмы и даже не психически больные, увы. Самые обычные люди, жившие по перевернутым понятиям: мы не уничтожали, не истребляли, не воевали — но проводили «чистки», «особые акции», «умиротворение недовольных», «борьбу с партизанами», «реализовывали свое природное право на Востоке», действовали в рамках «особого режима», по «особому приказу», «решали еврейский вопрос». Такая подмена понятий помогала верить, что наш образ мыслей и наши действия по-прежнему соответствуют всем нормам права. Так же как и везде, от нас требовали высоких показателей, и мы их давали, полагая, что труд всякий бывает. А потом цифры, факты, методы, весь масштаб содеянного тобою вскрывают, словно гнойный нарыв, смердящий за многие километры. И только тогда все осознаешь. Но с убийственной четкостью осознаешь лишь итоги, не умея понять и объяснить причины или хоть немного приблизиться к их логическому обоснованию.

Были хотя бы единичные проблески в нашем сознании? Очевидно, что-то было. Я помню доктора Зиверса, секретаря «Аненербе» — общества, изучавшего древнюю германскую историю, он подбирал в Аушвице для профессора Августа Хирта заключенных, которым предстояло стать частью

* «Циклон Б» — пестицид на основе цианида, использовался для массового уничтожения людей в газовых камерах немецких лагерей смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru